

КОЛОБРОДОВ

Иван
АЛЕКСЕЙ
Бунин

A.C. Мухомов

ЗДРАВЫЕ

ЭДУАРД
ЛИМОНОВ

В. АКСЕНОВ

Виктор ПЕЛЕВИН

СМЫСЛЫ

Дмитрий
Бяков

НАСТОЯЩАЯ
ЛИТЕРАТУРА

М. БУЛГАНОВ

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

НАСТОЯЩЕГО
ВРЕМЕНИ

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

ЗАХАР ПРИЛЕПИН
РЕКОМЕНДУЕТ

Захар Прилепин рекомендует

Алексей Колобродов

**Здравые смыслы. Настоящая
литература настоящего времени**

«Центрполиграф»

2017

УДК 82-95
ББК 83.3(2Рос-Рус)6

Колобродов А.

Здравые смыслы. Настоящая литература настоящего времени /
А. Колобродов — «Центрполиграф», 2017 — (Захар Прилепин
рекомендует)

ISBN 978-5-227-06615-2

Алексей Колобродов – журналист, телеведущий, литературный критик, прозаик. Книга литературной критики «Здравые смыслы» тонкая и ироничная. Неожиданный ракурс интерпретации не отрицает общепринятых канонов, но обходит их по скандальной подчас траектории. Скандальность эта, разумеется, для автора не самоцель, но всегда с удивлением обнаруживаемое свойство как собственного мышления, так и многих классических имен и текстов. В книге присутствует ненормативная лексика.

УДК 82-95
ББК 83.3(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-227-06615-2

© Колобродов А., 2017
© Центрполиграф, 2017

Содержание

Шкурный мужицкий интерес	6
От автора	8
Часть первая. Приличия и величия	10
Первый вор. Александр Пушкин и криминальная футурология	10
Неактуальный юбиляр. Новые сюжеты покойного писателя (к 70-летию Сергея Довлатова)	17
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Алексей Колобродов
Здравые смыслы. Настоящая
литература настоящего времени

© А. Ю. Колобродов, 2017

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2017

© «Центрполиграф», 2017

Шкурный мужицкий интерес

Назвать Алексея Колобродова «литературным критиком» язык не поворачивается, он про что-то другое.

Хотя внешне – именно про это: точные и точечные высказывания чаще всего о книгах, реже о фильмах и музыке, но даже если про эти соседствующие сферы искусства, все равно с литературной точки зрения.

«Я – по самоощущению – в литературе дилетант», – признается Колобродов, и он не лукавит.

Такое самоощущение дорогого стоит. Оно позволяет каждую книжку читать с искренним, почти детским чувством первооткрывателя: а вдруг будет чудо? – а не с тем вот тошнотворным скепсисом, характерным для ряда «профессиональных критиков»: «Ну чего тут еще? Опять понаписали какую-нибудь галиматью? Никакого покоя от вас нет, мерзавцы!»

При своей, скажем так, строгой, не слишком падкой на развернутые комплименты интонации Колобродов доброжелателен какой-то внутренней, физически ему присущей доброжелательностью. Он доброжелателен не к определенным авторам, а в целом к литературе, просто потому, что чтение для него – форма осмысления мира и радость. На кого ж тут злиться?

С подобным подходом и не самая удачная книжка не станет помехой или раздражителем.

В другом месте Колобродов употребляет по поводу своей читательской заинтересованности забавное определение: «шкурный интерес». Ну да, именно.

Дабы хоть как-то отблагодарить мир за свой реализованный «шкурный интерес», Колобродов пишет литературно-философские очерки, периодически перетекающие в социальную диагностику. Следить за течением его мысли – дело увлекательное само по себе. Это как следить за движением шахмат: ход пешкой, ход пешкой, а потом вдруг стремительный перелет через все поле офицера, неожиданный рывок конем – и картина уже иная.

Особый эффект при чтении этой книжки создается еще вот почему. Колобродов при всем своем, конечно же условном, «дилетантстве» отлично владеет всем профессиональным филологическим инструментарием, однако использовать его не слишком торопится.

Литература здесь в кои-то веки рассматривается не с точки зрения прекрасной филологической девушки или дамы, не с точки зрения старого филологического брюзги или пусть даже и не брюзги, а умудренного филолога – но с точки зрения пожившего мужика, к тому же из провинции, который вообще другими вещами занимается, но обладает, как часто водится у русских людей, какими-то совсем неожиданными талантами.

Этот вот сменивший сорок работ трудяга, выросший на заводских окраинах, не понаслышке знакомый с криминальной средой и т. д. и т. п. – всю жизнь много читал. Я о Колобродове. О конкретном человеке Колобродове.

Такие мужики как тип есть и сегодня, а в Советском Союзе их были миллионы. У Колобродова от них маленькое, но весомое отличие – он может отлично порассуждать на тему прочитанного. Не просто порассуждать, а еще и записать свои рассуждения. «Вывести мораль». Причем зачастую вывести эту мораль туда, куда рассматриваемый Колобродовым автор даже не предполагал ее выводить.

Но выводит ее Колобродов, руководствуясь исключительно здравым смыслом. Понятиями нормы! В наши смутные дни, когда за каждым вторым пишущим подозреваешь явные признаки психической деформации, которая к тому же используется как навязчивый прием, здравый смысл стал товаром дорогим и долгожданным.

Отдельное наше честное совпадение с Колобродовым: интерес к одним и тем же фигурам. На меня, как и на него, определяющее – даже не литературное, а человеческое – влия-

ние оказали, как минимум, два наших современника: Эдуард Лимонов и Леонид Юзефович. (Причем с годами опыт второго становится для меня неожиданно важнее опыта первого.)

Или, опять же, мы с Колобродовым с удивлением и смешанным чувством долгое время смотрели за разнообразными движениями Дмитрия Быкова. Я вот уже насмотрелся, а Колобродов еще нет.

Леха, он добрый. Как всякий сильный русский мужик.

По крайней мере, до какого-то последнего непростительного момента.

Но этот момент, видимо, еще не наступил.

Захар Прилепин

От автора

Есть профессии, не так много, в которые можно попасть только случайно, сугубо волей судьбы. Литературная критика, по моему убеждению, возглавляет их невеликий список.

Исключения случаются и традиционно подтверждают правило. Помню, меня поразила повесть Павла Басинского «Московский пленник», где автор страстно, талантливо и чуть иронично рассказывает о своей мечте сделаться литературным критиком, как грезилась ему собственная фамилия на первых полосах «Литературки» рядом с тем же типографским шрифтом набранными «Игорем Золотусским» и «Львом Аннинским», сколь извилист и жертвен был начальный путь к этому полиграфическому идеалу... Уже на момент выхода повести («Октябрь», 1997 г.) все у Павла Валерьевича сложилось в профессии прекрасно, через тернии к звездности, но... Всегда с интересом читая знаменитого критика, до сих пор не могу отделаться от тревожного ощущения беседы с инопланетянином.

Представляется, что мой опыт – более релевантен, что ли... В литературную критику меня «окрестил» Сергей Боровиков – тогдашний лучший и многолетний редактор толстого журнала «Волга», сам великолепный литкритик и на сегодняшний день – один из лучших в России эссеистов. Даже так – писателей о литературе. (По отношению к себе я эту дефиницию, разумеется, не употребляю – поскольку слаб и недостойн.)

Занятие это, естественно, было последним, о котором я мог помышлять в этой, тем паче в той жизни. Был 95-й или 96-й год, я уже имел некий разнообразный жизненный опыт и брутальный look; только что, после серии пролетарских работ, устроился в областную газету, в том числе на криминальные сюжеты. Все это, по моему жизненному плану, должно было стать топливом будущей прозы – мускулистой (лимоновский эпитет сделался с тех пор достоянием литературоведения), сюжетной, жесткой и в то же время совершенной стилистически.

Сергей Григорьевич выудил из редакционного самотека мои рассказы и пригласил на беседу. На огромном редакторском столе лежали листочки с моей скверной машинописью и румяные яблоки, назначение которых (легкая, быстрая и универсальная закуска водки) я определил уже позже, когда мне довелось испытать одно из главных в жизни удовольствий – совместной выпивки с Боровиковым, выдающимся специалистом этого дела.

Сергей Григорьевич рассказы мои обещал напечатать (и напечатал, по толстожурнальным меркам, быстро), но без обиняков заявил, что с большой прозой у меня получится вряд ли. Не то дыхание, скорее спринтерское, слишком развитый для беллетристики интеллект (и это не было комплиментом). А вот для критики он обнаружил у меня подобающий набор: весь перечислять не буду, но среди прочего были названы ирония и злость. Боровиков дал мне что-то вроде урока (книги и журналы на рецензию). Стал регулярно печатать в критическом разделе «Волги», ну я и втянулся, а там и другие «толстяки» заинтересовались, бывшие тогда слабеющим, но все же магнитом распадающейся на улусы советской литературной империи.

Видимо, как раз в этом, 2016 году – двадцатилетний юбилей моего пребывания на этом странном и вредном производстве. Впрочем, с перерывами, – в книжке «Захар» я писал, что в начале нулевых решил с литературной критикой завязать, – по причине той среднерусской и постмодернистской тоски, которая тогда в руслите разлилась и нависла. Казалось, навеки. Однако появление новых реалистов и новых же смыслов, равно как и наступившая собственная интеллектуальная зрелость, заставили совершить камбэк.

Тут я, собственно, перехожу непосредственно к презентации. Книжку «Здравые смыслы» составляют тексты этого самого камбэка, то есть написанные в последние пять-шесть лет. Печатавшиеся по всему сужающемуся спектру литературной периодики – от толстых журналов до специализированных интернет-площадок («Литература», «Открытая критика», «Перемены» и пр.) – чем дальше, тем безоговорочней я предпочитаю сетевые варианты.

Здесь далеко не все, написанное мной о литературе, и вовсе не the best по самоощущению. Принцип отбора, мне кажется, точно отражен в издательском подзаголовке – «Настоящая литература настоящего времени». Как минимум, есть оправданная претензия на качество если не авторского прочтения, то его объектов и характеристика литературного календаря – время не только «современное нам», но имеющее самостоятельную ценность: честное, сложное, литературно насыщенное и полнокровное.

Первый раздел «Пограничья величия» – подборка эссе о классиках и на сегодняшний день классических текстах; объединяет их, на мой взгляд, неожиданный ракурс интерпретации – не отрицающий общепринятых канонов, но обходящий их по скандальной подчас траектории. Скандальность эта, разумеется, для меня не самоцель, но всегда с удивлением обнаруживаемое свойство как собственного мышления, так и многих классических имен и текстов.

Раздел «Замеры» – даром что собран из произведений жанра довольно скучного, рецензий, – получился наиболее концептуальным. Он построен по принципу «одна книга (публикация, вещь etc) – один писатель». Это позволяет избежать иерархий, естественного зазора между признанными писателями и литературной молодежью, зрелыми текстами и дебютами и представить в той или иной степени целостную картину общего производства.

Финальная часть, «Страна сближений», разворачивает мой давний и спорный тезис: таланты ходят парами, а вовсе не стайками, как виделось Юрию Олеше. Во всяком случае, по России. В разделе сделана попытка исследовать эту парность в качестве важной приметы национальной идентичности и художественной состоятельности.

Словом, приятного всем чтения. Как говорил Михаил Зощенко и любил повторять, завершая письма, Сергей Довлатов, «литература продолжается».

Часть первая. Приличия и величия

Первый вор. Александр Пушкин и криминальная футурология

Как будто пробку из людей вытащили расстрелом Деда Хасана. Пишут невообразимое количество чепухи. Колумнисты-эссеисты либерального направления срочно переквалифицировались в криминальные репортеры.

Да что там, бери выше – в серьезные исследователи традиций и практики воровского мира. Люди, которые, подозреваю, и в пионерлагере-то не были, важно рассуждают о сроках, ходках и сходках.

Персонажи, видевшие суд снаружи, а тюрьму – из трамвая, квалифицированно спорят о нерушимости моральных принципов в сообществе, сходясь во мнении, что от воровской короны нельзя отказаться, ее можно только потерять. Вместе с головой.

Но больше всего умиляет рефрен про 90-е. Ах, 90-е возвращаются! Ах, они и не проходили! Ах, слишком рано мы забыли эти 90-е!

Ну ясно, что это снова «от нашего столика – вашему столу», воплощенная укоризна власти, которая среди своих геракловых подвигов числит обуздание и приручение отечественного криминала, преодоление «лихих 90-х». Отнюдь не календарное. Но тут есть тонкий момент – власти нигде не отчитывались о победе над воровским миром. Может, из скромности. Если даже у Сталина не вышло – где уж нам там...

Помимо всего прочего, товарищи писатели, а в чем связь 90-х с профессиональным криминалитетом «воровского хода» вообще и конкретным Дедом Хасаном в частности? Ну да, обнаружили тогда у блатных конкуренты – бригады «новых», «спортсменов», «братков». Где-то конфликтовали, иногда договаривались, подчас сами «новые» шли на союз с ворами – тактический и стратегический, памятуя, что от тюрьмы да сумы...

Ничего особо принципиального, бывало куда круче:

– 20 – 30-е – возникновение воровского сообщества в его более или менее институционализированном виде, на стыке традиций и предания дореволюционного каторжанства и массовой беспризорщины. (Другой мощный поток рекрутов – дети ссыльных раскулаченных крестьян.)

Появление скрижалей воровского закона;

– поздние 40-е – «сучья война»;

– конец 50-х – начало 60-х – хрущевские репрессии старейших и уважаемых воров в законе;

– 70 – 80-е – засилье «лавушников» (воров грузинского и – шире – кавказского происхождения), либерализация «понятий», появление «апельсинов» (людей, коронованных за деньги или по бартеру – реальные или потенциальные услуги сообществу).

Источник нынешних знаний гражданской публики о криминальном подполье определяется невооруженным глазом. Это полицейская мифология.

Я своими глазами лет десяток назад видел у одного весьма неглупого опера список «воров в законе». Который наполняли городские бригады – от мала до велика (малые, впрочем, преобладали), к классическому блатному миру никакого отношения не имевшие.

Как это часто бывает в России – отечественная литература заметно опережает ведомственную информацию – не только, что естественно, в художественном плане, но и по уровню достоверности и документализма.

Убедительнейший срез криминальной ментальности дает Михаил Гиголашвили в книге «Чертово колесо», где один из многих драматичных сюжетов – попытка отказа тбилисского вора в законе Нугзара от воровского звания, продиктованная желанием начать новую жизнь в тихой Европе в логике «романа воспитания». (Кстати, привет всем заявляющим о пожизненном ношении короны – у Гиголашвили описана юридически безупречная процедура отречения.)

Пример несколько иного рода – писатель и сценарист, «киевский Тарантино», Владимир «Адольфыч» Нестеренко. В его сценариях «Чужая» и, главным образом, «Огненное погребение» блатная жизнь предстает своеобразной йогой, не столько радикальной социальной, сколько мистической практикой. Адольфыч намеренно не выделяет людей «воровского хода» из общей разбойной массы – его персонажи объединяются не по кастовому принципу, а скорее через общность биографий и приверженность «понятиям».

Собственно, в 90-е так оно и выглядело. Чему доказательством – некоторые рассказы Виктора Пелевина, содержательно примыкающие к известному эпизоду грибного трипа из «Чапаева и Пустоты»: «Краткая история пейнтбола в Москве», «Греческий вариант», Time out и пр.

Впрочем, Пелевин и Адольфыч демонстрируют стилистические полюса, переходящие в мировоззренческие: игровое начало и условности у Виктора Олеговича вкупе с наспех припрятанной моралью (за которую подчас выдается сведение литературных счетов) заставляет вспомнить не Вильяма нашего Шекспира, а Карабаса-Барабаса, тогда как мрачные сцены Адольфыча – задуматься о реалиях адской пересылки накануне этапа.

Впрочем, нынешние звезды околориминальной публицистики едва ли могут похвастать знакомством даже с классическими образцами: «антиворовскими» памфлетами Варлама Шаламова или как раз апологетическими в отношении воров лагерными записками Синявского-Терца.

Однако наверняка все читали «Капитанскую дочку», где впервые в русской литературе появляется убедительный образ настоящего блатного, прописанный, может, и на скорости (фабула и хронотоп небольшой повести не оставляли иных вариантов), но со множеством видовых признаков. Довольно близкий к современному представлению о князьях преступного мира. Мифологизация и романтизация (как изнутри, так и снаружи) – центральный элемент в этом комплексе.

Многие замечательные авторы вставляли перед парадоксом: в «Истории Пугачева» Александр Сергеевич изобразил пугачевцев и вождя их настоящими зверьми (что, кстати, вполне согласуется с манифестами Емельяна Ивановича – написанными, надо сказать, близко к стилистике и орфографии современных «маляв»: «И бутте подобными степным зверям»). И вообще пафос ИП – даже не лоялистский, но верноподданнический; так хроника и задумывалась, это был пушкинский бизнес-проект: «Пугачев пропущен, и я печатаю его на счет государя... Государь позволил мне печатать Пугачева: мне возвращена моя рукопись с его замечаниями (очень дельными)». (Одно из «дельных» замечаний: переименование «Истории Пугачева» в «Историю пугачевского бунта».)

Тогда как в «Капитанской дочке» уровень авторской симпатии к Пугачеву заметно превышает фольклорную снисходительность к серому волку, которого не надо губить, поскольку он сумеет когда-нибудь сделаться полезным.

Известны на сей счет эмоциональные заметки Марины Цветаевой; Сергей Довлатов подает реплику о том, что изобразить в пушкинские времена Пугачева сочувственно – все равно что сегодня восславить Берию... (Сергей Донатович не дожил, но мы-то знаем, что ныне

– это практически мейнстрим.) Сравнение мятежного казака с эффективным госчиновником кажется неуклюжим, но стоит вспомнить хрущевские разоблачения Берии, где настойчиво звучал пропущенный через тогдашний официоз мотив самозванчества.

Наконец, недавно на «Свободной прессе» было опубликовано отличное эссе Льва Пирогова «Пушкин как Акунин», посвященное аналогичной проблематике.

У меня здесь не очень оригинальная версия: Пушкин писал «Капитанскую дочку» исходя не только из фольклорных архетипов (пресловутый серый волк), но и по лекалам современного ему европейского исторического романа, прежде всего Вальтера Скотта (Виктор Топоров в комментариях в «Фейсбуке» проводит параллель КД с «Роб Роем»), где благородный разбойник становится центральной и влиятельной фигурой.

Интересней другое: чужую легенду о благородном разбойнике российский воровский мир также присвоил для нужд собственной мифологии.

(Западные исследователи часто проводят аналогию между российским сословным криминалом и мафией, сравнивая воров в законе с сицилийско-нью-йоркскими донами; параллель явно хромает не столько в историческом плане – деятельность Тори Гильяно, сицилийского Робин Гуда, по времени совпадает с «сучьей войной» 40-х годов, сколько в плане социальном: для российских воров семейные ценности несли, в значительной степени, отрицательные коннотации, кланы формировались по иному принципу. Скорее мафиозные голливудские эпосы – «Крестный отец» и др. – оказали серьезное влияние на идеологию «новых», «спортсменов», «братков» в 90-х, бригады которых, кстати, тоже формировались не по-семейному, а территориально и национально.)

Пушкин гениальным художественным чутьем предвосхитил подобные процессы на целый век, дал в пугачевской линии КД замечательный микс фольклорной архаики, современного ему романтического экшна и криминальной футурологии.

Давайте поподробней.

Эпизод № 1. Феня

После бурана, застигнувшего в яйцкой степи кибитку Петра Гринева, герои благодаря «сметливости и тонкости чутья» вожатого (Пугачев) оказываются на постоялом дворе (в хозяине которого угадывается исторически достоверный персонаж – казак Степан Оболяев).

«– Где же вожатый? – спросил я у Савельича.

– Здесь, ваше благородие, – отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза». (Это уже практически Достоевский.)

Далее Пугачев обменивается репликами с хозяином постоялого двора.

«– В огород летал, конопля клевал; швырнула бабушка камушком, да мимо. Ну, а что ваши?

– Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. – Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит; поп в гостях, черти на погосте.

– Молчи, дядя, – возразил мой бродяга (кстати, весьма уважаемый в воровской иерархии статус. – А. К.), – будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит».

Юный Гринев, натурально, не просекает смысла этого почти тарантиновского диалога, но чувствует его функционал: «Я ничего тогда не мог понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яйцкого войска, в то время только что усмиреного после бунта 1772 года. (...) Постоялый двор... очень походил на разбойническую пристань».

Классическая, или «старая», феня сложилась в качестве самостоятельного аргумента гораздо позднее, во многом под влиянием идиша («блат», «фраер» и т. д.), но основной ее принцип – новый и скрытый смысл в прежних грамматических конструкциях – Александром Сергеевичем зафиксирован.

Следует отметить еще два момента. Место Пугачева в криминальной иерархии – он, будучи моложе хозяина по возрасту (у Пушкина на этот счет точные указания), общается с ним, как старший по статусу. И – афористичность воровской речи: «Чай не наше казацкое питье»; «Кто не поп, тот батька».

Эпизод № 2. Татуировки

Пугачев захватывает Белогорскую крепость, казнит офицеров и милует Петрушу. Гринев разыскивает посыльный казак:

«Великий государь требует тебя к себе. (...) Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиной с пятак, а на другой персона его».

Речь явно идет о татуировках, призванных продемонстрировать высокое положение их носителя, – чисто воровская история. Любопытно, что двуглавый пугачевский орел у воров советского времени превращается в звезды (пятиконечные, естественно, причем воров славянского происхождения делали их на плечах и груди). С «персоной» – аналогичный процесс в развитии, на левой стороне груди блатные кололи Ленина (ВОР – вождь Октябрьской революции) и Сталина (бытовал миф, что «персона» Иосифа Виссарионовича – своего рода, по выражению Мандельштама, «прививка от расстрела»). Впрочем, последнее, благодаря известной песне Владимира Высоцкого, уже не сословная, а национальная легенда.

Эпизод № 3. Шансон

Гринев приглашен на пирушку к Пугачеву, участники которой «...сидели, разгоряченные вином, с красными рожками и блистающими глазами».

Здесь показателен демократизм воровской сходки: «Все обходились между собой как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. (...) Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева».

В завершение «странного военного совета» Пугачев просит свою «любимую песенку»: «Чумаков! Начинай!»

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.
Что завтра мне, доброму молодцу, в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь.
Всю правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ – темная ночь,

А второй мой товарищ – булатный нож,
А как третий-то товарищ – то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ – то тугой лук,
Что рассыльщики мои – то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебе, детинушка, пожалуйю
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Интересен и комментарий героя: «Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, – все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом».

Перед нами песня – прообраз современного шансона, однако явно не того направления, что регулярно звучит в эфире одноименного радио, таксомоторах и привокзальных киосках. Не случайно экономный в средствах Александр Сергеевич не жалеет для нее двух знаковых эпитетов – «бурлацкая» и «простонародная».

И то верно: в коммерческом шансоне сюжет со смертной казнью практически не встречается – как в голливудском кино обязателен хеппи-энд, так в поп-музыке, даже подобного извода, нельзя сильно травмировать слушателя.

Зато расстрел как аналог виселицы полнокровно прописан в дворовой лирике явно лагерного происхождения: знаменитые «Голуби летят над нашей зоной»; «Седой» («Где-то на Севере, там, в отдаленном районе»); «За окном кудрявая, белая акация» («Завтра расстреляют, дорогая мама»); «В кепке набок и зуб золотой».

Есть стилизованная под фольклор «Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела», известная более всего в исполнении Аркадия Северного.

А вот из шансона, так сказать, авторского, с ходу вспоминается лишь «Мне пел-нашептывал начальник их сыскной» из первого магнитоальбома Александра Розенбаума. Там (впрочем, как и много где, если считать от «Мати зеленой дубровушки») звучит мотив воровской омерты:

А на суде я брал все на себя!
Откуда ж знать им, как все это было...

Показательно, что именно эту песню горланят под гитару персонажи «Бригады».

Но вернемся к протошансону. «Детинушка крестьянский сын» предвосхищает рекрутинг преступного мира в эпоху коллективизации. И другое странное сближение: ведь осуществился же во времена Никиты Хрущева казавшийся сугубо умозрительным разговор «царя» с вором. Между прочим, в наши времена травестированный известным сетевым фотофейком «Путин и Дед Хасан».

Эпизод № 4. Разборка

Гринев, получив неприятные известия из Белогорской крепости, отправляется спасать невесту – Машу Миронову. В ставке Пугачева, Бердской слободе, его задерживают и препровождают «во дворец».

Здесь пушкинский герой становится свидетелем и косвенным участником настоящей разборки «по понятиям», которую начинает сам Пугачев, знаменитой предьявой:

«Кто из моих людей смеет обижать сироту? – закричал он. – Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

Авторитеты или, согласно Пугачеву, «господа енаралы»: беглый капрал Белобородов, «тщедушный и сторбленный старичок с седой бородкою» и голубой лентой, надетой через плечо по серому армяку, и «Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников» (Пушкин акцентирует количество Хлопушиных «ходок» и побегов) – схватываются, «закусываются», по всей видимости, не в первый раз. Отношение к оренбургскому офицеру – лишь удобный повод.

Белобородов настаивает на пытке и казни Гринева. Хлопуша не то чтобы заступает за фразерка, но отстаивает некий поведенческий кодекс, «закон»:

«– Полно, Наумыч, – сказал он ему. – Тебе бы все душисть да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?»

– Да ты что за угодник? – возразил Белобородов. – У тебя-то откуда жалость взялась?

– Конечно, – отвечал Хлопуша, – и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье, да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором».

Если разложить словесную стычку авторитетов «по понятиям», контекст конфликта проясняется. Белобородов – типичное «автоматное рыло», человек, не имеющий прав на высшие статусы криминальной иерархии, поскольку живет с очевидным «косяком» – служил государству в армии. Как всякий неофит, «апельсин», он, однако, стремится перещегоолять коллег жестокостью и кровью, переиродить ирода.

Хлопуша, бандит с безупречной криминальной биографией, во-первых, свободен от подобного соблазна, во-вторых, демонстрирует традиционное для воров неприятие «мокрухи» на пустом месте. Понятно, что без нее не обойтись никак, но если обстоятельства тому способствуют, лучше избежать.

Пугачев же в разборке выполняет роль третьей стороны. Словесная стычка, по его предложению, заканчивается выпивкой и открытым финалом: не приняв ничьей стороны, он в отношении Гринева поступает по-своему.

Отмечу, что слепо на милость Емельяна Ивановича Гринева не уповаешь: достаточно изучив нравы воровского сообщества, он понимает, что расположение авторитета к его персоне может смениться полной противоположностью. Более того, каких-то переходов и границ между подобными состояниями просто не существует: еще один знаковый извод криминальной ментальности.

Проиллюстрирую тезис, для разнообразия, отрывком из другого автора:

«Вообще, Эди начинает понимать, что Тузик не так прост, как ему показалось вначале. Во всяком случае, искусством повелевать своими подданными он владеет прекрасно. Все, что он говорит, как бы имеет двойной смысл, в одно и то же время таит и угрозу, и поощрение, заставляет нервничать и недоумевать» (Эдуард Лимонов. «Подросток Савенко»).

Эпизод № 5. Пограничье

Пугачев устраивает счастье Гринева: Петр и Маша отправляются в симбирское имение родителей, и тут, как бы походя, проговаривается чрезвычайно принципиальный для нашей темы момент:

«Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали, как придворного временщика».

Это же абсолютно сегодняшняя история, когда безусловный социальный антагонист, офицер (мент) может пользоваться в среде блатных авторитетом и уважением, восприниматься не как «начальник», но начальник если не прямой, то непосредственный.

Существует известный афоризм, родом из тех же 90-х: наступает момент, когда каждый должен определиться, с кем он: с ментами или с братвой.

Красиво, но неактуально, да и коллизия подобная существует только на первый и непосвященный взгляд. Нынешняя российская власть своей поведенческой практикой сняла проблему вовсе, показав, что вполне себе можно и нужно соединять в себе самые яркие и жесткие черты мента и блатного. Более того, такая жизненная стратегия обречена на успех и как пример для подражания. Далеко не у всякого выходит, но если получилось – обо всем остальном можно особо и не париться.

Вся властная практика (и отчасти идеология) нулевых стоит на таких вот кентаврах, микшированных ворах-полицейских, мешанины из закона и понятий.

Гениальное же прозрение Александра Пушкина в том, что отсутствие ярко выраженных (а подчас и штрихпунктирных) границ между ментами и блатными есть один из главных признаков русской смуты.

И подобному критерию «смутного времени» стабильные нулевые и турбулентные десятилетия отвечают гораздо в большей степени, нежели «лихие 90-е».

Р. С. Сергей Есенин создал драматическую поэму «Пугачев», во многом опираясь на пушкинскую «Историю Пугачева».

Любопытно, что Есенин, «единственный поэт, канонизированный блатным миром» (Шаламов), обошелся в «Пугачеве» без мало-мальски заметной блатной ноты. Причина, видимо, не столько в имажинистской поэтике (местами отчаянно-гениальной), сколько в недавнем опыте русской революции, Кронштадтского мятежа, тамбовской «антоновщины», близости поэта к левым эсерам, которую он застенчиво именовал «крестьянским уклоном».

Есенинский Пугачев – отнюдь не вор и разбойник, а скорее партийный вождь, тогдашний левый эсер или сегодняшний нацбол, с романтизмом, рефлексиями и ореолом жертвенности.

Даже профессиональный криминал Хлопуша сделан у Есенина в родственном, хоть и более brutальном ключе – не эсер, но анархист, темпераментом напоминающий Нестора Махно, биографией – Григория Котовского.

Следует признать, что аристократ Пушкин оказался дальновиднее крестьянина Есенина.

Неактуальный юбиляр. Новые сюжеты покойного писателя (к 70-летию Сергея Довлатова)

Сергей Довлатов, как всякий советский человек, был равнодушен к пузатым юбилейным цифрам. Один из лучших своих рассказов он назвал «Юбилейный мальчик», вспоминаются также не слишком удачный каламбур о «ленинском ебулее» и заклинание – с традиционным довлатовским сдвигом в сторону абсурда и черного, настоящего горечью, юмора – из письма к бывшему товарищу Игорю Ефимову: «Я готовлю сейчас сборник рассказов, как бы – избранное за 20 лет, но это я попытаюсь выпустить года через два – к пятидесяти годам, если доживу, а если не доживу – тем более».

Между тем нынешнее 70-летие писателя, в отличие от прежних его круглых дат, как-то не располагает говорить о Сергее Донатовиче в сугубо юбилейном контексте. Слишком уж драматично сложились для писателя эти двадцать с небольшим посмертных лет, головокружителен и масштабен их сюжет – относительно человеческой и прижизненно-литературной судьбы Сергея Донатовича. Как будто Довлатов, всегда декларировавший свою биографическую и писательскую усредненность, но втайне полагавший обратное, вдруг, находясь в иных измерениях, решил добрать свое на грешной земле. И не только в славе...

Заманчиво сравнить посмертное существование СД с протеканием запоев – их пиками и спадами, переменной напитков и впечатлений, внезапными и неожиданными маршрутами, вовлечением все новых персонажей в этот карнавал, воспоминаниями «вчерашнего» и скандалами дома, клиническими пограничьями и прочими, слишком известными, приметными многодневной гульбы. А в финале – возможно, промежуточном – депрессия, усталость, иссякание, нетвердое движение по вдруг пересохшему руслу.

Буквально на следующий день после смерти – настоящая оглушительная популярность. Даже не писательски-посмертная, но артистическая, эстрадная. «Культовость». Публикации, книги, собрание сочинений, регулярно дополняемое и многократно переиздаваемое. Мемуары, которые брали не качеством, но количеством воспоминателей, удивительным для нынешних литературных нравов. Невероятный, выражаясь, под стать явлению, социологически, – индекс цитируемости. Довлатовские цитаты действительно разлетелись и сделались цикадами, растворившись не только в языке, но и в самой природе, когда постоянное наличие звука снимает вопрос о его происхождении и производителе.

Не где-нибудь в университетских аудиториях или народного формата пивных, но в хайтек-офисах на полном серьезе и скандале спорили – какая из книжек писателя лучше – «Зона» или «Заповедник», «Филиал» или «Чемодан». Волны подражателей – не столько стилистике, сколько стилю «джунглей безумной жизни». Канонизация в ее национально-литературном изводе: причисление к классикам. Кинематограф.

Биографический бум – книги Игоря Сухих, Людмилы Штерн, Анны Коваловой – Льва Лурье, избыточные мемуары Аси Пекуровской, филологический роман Александра Гениса «Довлатов и окрестности». Серия ЖЗЛ – где, словно в унисон к нелепостям довлатовских жизненных обстоятельств, Валерий Попов ухитрился состряпать книжку одновременно претенци-

озную, жалкую и скандальную. Два тома писем – один из которых запрещен судом к распространению. Сайты, посвященные жизни и творчеству.

(И разумеется, присутствие довлатовских текстов в Сети – множество опечаток, пропусков, несуразностей, что для вольной стихии Интернета скорее правило. Легко представить, сколько витиеватых проклятий досталось бы равнодушному сетевому пространству от педанта Довлатова, которого любая опечатка в чужом тексте надолго и беспокойно цепляла, а в собственном – навсегда портила настроение. К терминам типа «сетевая проза» Довлатов, отличавшийся известным консерватизмом в делах литературных и полиграфических, отнесся бы наверняка с плохо скрываемым раздражением и подозрительностью.)

Снова публикации, книги, переиздания. Авторская воля ни при каких обстоятельствах на недопущение в печать отдельных художественных текстов пока не нарушается, зато любовно собраны под одной обложкой редакторские колонки для «Нового американца» – довольно унылое чтение. Однако – безошибочно довлатовское, и дело даже не в стилистической эквилибристике с неповторяющимися буквами в одной фразе. «Новый «Компромисс» можно написать», – точно заметил Игорь Сухих.

Две мемориальных доски – в Питере и Таллине.

И вдруг – сначала исподволь, незаметно, а потом и явно – волна пошла на спад. Довлатов становится малоактуален. Если не для широких читательских, то для не слишком узких в России литературных кругов. В принципе обычное для любой громкой писательской славы явление, на фоне успевших кардинально измениться эпох и стран, но, согласитесь, в преддверии 70-летнего юбилея (мог бы жить и жить, да) – явление весьма несвоевременное. Странное.

Можно рискнуть и обозначить причины.

Одна из основных: довлатовские штудии оказались монополизированы.

Андрей Арьев, друг, биограф, исследователь и комментатор Довлатова – задал им высокий изначальный уровень. (Кстати, на фоне многолетней работы Арьева опус Попова в ЖЗЛ кажется особенно, вопиюще убогим; однако показательно, что по поводу поповской ЖЗЛ-книжки демонстративно отмолчались и Андрей Арьев, и, скажем, Александр Генис.) Но здесь есть и обратная сторона – топтание одних и тех же довлатовских окрестностей, бег по кругу, ставший со временем состязанием вхолостую. Отсюда изъяны, возможно имеющие общее, географическое, питерско-ню-йоркское происхождение: ограниченный круг «посвященных», единый биографический канон и общая стилистика, изысканная и строгая, но скучноватая, без увлекательности; наличие табу и белых пятен.

На этом фоне прямо-таки первозданно свежими выглядят безыскусные записки Вадима Белоцерковского и Евгения Рубина, Виктории Беломлинской, равно как недавний уничижительный и ревнивый мемуар Эдуарда Лимонова в «Книге мертвых – 2».

Например, как это ни странно, мало известно о солдатской службе СД в СА. Несмотря на «Зону» и опубликованную переписку с отцом. А ведь в Коми АССР, непосредственно в лагерной охране, Довлатов служил меньше года. Потом, хлопотами Доната Мечика, перевелся ближе к Ленинграду, и об этом периоде – везде глухо. Хотя, минуточку, именно в питерский период службы СД познакомился с Еленой Довлатовой.

Довлатов и бокс – тема увлекательная, но совершенно неисследованная. Миф или реальность? Бокса в текстах СД немало; он не опубликовал, но написал роман (!) «Один на ринге», работал над повестью «Записки тренера». Довлатов всегда горделиво, маскируя брутальность самоиронией, упоминал о занятиях боксом, «уроках тренера Шарафутдинова» и «перспективном тяжеловесе», что смотрелось наследственными хемингуэевскими бантиками. Однако в том же «Филиале» СД обнаруживает известное знание боксерского дела.

Словом, нынешний, хочется надеяться, временный спад интереса к Довлатову (причем на фоне явного подъема интереса к отечественной словесности) мне кажется обратной стороной глубокого бурения при ограниченности зоны изысканий. Запасов словесной руды хватит многим, но страх отдалиться от общего дома заставляет разрабатывать единственную шахту до полной потери смыслов.

Есть во всем этом некая рифма к прозаическому корпусу Довлатова, в котором автор, по выражению Игоря Ефимова, «гонит и гонит колонну одних и тех же персонажей по разным строительно-мемориальным (то есть воспоминательным) объектам». Но сегодня и объекты примелькались.

Я рискнул бы обозначить несколько относительно свежих сюжетов, связанных с Довлатовым и довлатоведением. Причем, будучи человеком совершенно неакадемическим и лишенным всяких претензий на глубокое бурение, просто осмелюсь предположить, что какой-либо из них заинтересует более серьезного исследователя.

Семидесятые. Сплетник-сатирик. Довлатов и Высоцкий

Историко-географическая канва довлатовской литературы сегодня кажется далекой и архаичной – «ленинградская жизнь» 70-х и эмигрантский быт 80-х, для современного читателя, суть одно и то же, как «советское» и «антисоветское», согласно знаменитому афоризму самого Сергея Донатовича. Все, разумеется, не так грубо и схематично – просто в «околонулевых» для многих источником исторической энергии является советский проект, во всей его, нередко мифологизированной, трагической мощи. Времен расцвета, но не угасания, которое спустя десятилетия в описаниях Довлатова предстает куда более элегическим, чем было в реальности и чем предполагал он сам – юмор и абсурд отступают перед печалью и самоиронией.

(Довлатов, наименее «антисоветский» из эмигрантских авторов, конечно, поразила бы сегодня эдакой метаморфозе общественных восприятий. А может, и нет – его драматические отношения с эмигрантски-«антисоветским» мейнстримом могут составить отдельный роман-документ, полный страстей, бесплодного кипения и неопрятного российского безумия. Сам Сергей Донатович в многочисленных письмах подробно хвастался ярлыками «красного», «агента КГБ», «розового либерала», «антисемита» и пр.)

Собственно, не раз отмечалось, что Довлатов в описании советских глупостей и паскудств никакой не сатирик – проблемы и ситуации, фиксируемые им, имманентны, присущи России и человеческой природе вообще.

Однако отказывать писателю Сергею Довлатову в звании сатирика – ошибочно.

Даже поверхностный анализ доступного сегодня эпистолярного корпуса СД с ходу выявляет в писателе точного исследователя человеческих, литературных, не в последнюю очередь – социальных нравов. Драма его отношений с окружающими, накаляясь, доходит до сатирического градуса. Литературный дар и юмористическое (но не хохмаческое), пополам с горечью, отношение к жизни выводит даже мимолетные обобщения на уровень сатиры эпической.

Игорь Ефимов в своем последнем письме Довлатову, ставящем точку в истории многолетней дружбы и долгой распри, точно фиксирует: «Ваши отношения с людьми полны бурных и неподдельных чувств», главное из них – «раздражение на грани ненависти». И далее –

«сплетни-самоходки», «клевета с моторчиком»; вывод – «Д. несправимый, заядлый, порой даже бескорыстный, талантливый, увлеченный своим делом очернитель».

Если бы Игорь Ефимов избавился от комплекса жертвы довлатовского «очернительства» и сумел бы взглянуть на ситуацию не изнутри, он бы легко убедился, что общества, правители и государства регулярно шили подобный набор ярлыков и обвинений своим сатирикам. Следствия – подчас в виде уголовных дел, реальных сроков и казней – слишком известны.

В последнюю, полновесную стадию своей драмы отношений, разрешившуюся сатирическим романом-пунктиром, Довлатов вступил именно в эмигрантский период. Возможно, причинами стали как свобода высказывания, так и возраст – не слишком уютная зрелость. Случившийся наконец писательский статус, позволяющий, по советской традиции, некое под-сознательное (в случае демократа СД) высокомерие. Плюс – предположение не вполне юмористическое – разыгравшаяся болезнь печени.

Но главное – трагическое несоответствие между свободной жизнью муз в зарубежье, как представлял ее советский маргинал Довлатов, и нравами литературно-журналистского гетто. Провинциальными в худшем смысле, когда уже не ясно, кто прав, кто виноват и «кто кого козлом впервые обозвал». К тому же чем мельче и провинциальней обстоятельства, тем сложнее их излагать прямо и последовательно. Это как рулон туалетной бумаги – размотать просто, а попробуй, при всей примитивности операции, скатать обратно до товарного вида...

Сатирик тем и отличается от юмориста, что он не только жертва и заложник подобных обстоятельств, но и автор их – поскольку обладает слишком долгой инерцией восприятия людей и событий в соответствии с когда-то установленным идеалом. А потом, наконец прозрев и обломавшись, скрипя зубами, мстит за поруганный идеал. Пусть даже идеал на поверку обернулся стереотипом.

«Максимов оказался интриганом и бабой. Я-то думал, что он вроде Демиденки с Кутузовым, или хотя бы вроде Пикуля, то есть, отчасти шпана, отчасти широкий русский тип, плаксивый, бесстрашный, похожий на солидного уголовника, но все оказалось по-другому. (...) Он – мелкий, завистливый и абсолютно сумасшедший человек. Он мне писал раз двадцать, и все эти бумаги надо отдать психиатру».

Сатирик, обладая цельным мировоззрением (а в случае Довлатова его можно свести к афоризму «ад – это мы сами»), сражается за него не на переднем крае, а в тылу врага, в спецподразделении. Чтобы, неизбежно проиграв войну, закончить в санитарной, а то и похоронной команде: «К сожалению, я убедился, что в мире правят не тоталитаристы и демократы, а зло, мизантропия и низость. Конфликт Маскимова с Эткингом – это не конфликт авторитариста с либералом, а конфликт жлоба с профессором, конфронтация Маскимова с Синявским – это не конфронтация почвенника с западником, а конфронтация скучного писателя с не очень скучным. Разлад Маскимова с Михайловым – это не разлад патриота с «планетаристом», а разлад бывшего уголовника с бывшим политическим».

Такого рода «сплетен-самоходок», черного жемчуга, от характеристик с остаточными блестками юмора до сатирического прямоговорения в письмах СД – на отдельный «Антикомпромисс».

Не приходилось слышать, чтобы Сергей Донатович, находясь в самых разных стадиях отношений с корреспондентами и портретируемыми, взял бы хоть одно слово из этих беглых зарисовок обратно.

Прежде чем вернуться в семидесятые, надо сказать, что у Сергея Донатовича отношения со временем гибкие.

Его тридцатилетний, плюс-минус, герой часто и запальчиво заявляет, что уже «двадцать лет пишет рассказы», и нам остается поражаться эдакому литературному вундеркиндерству.

В «Филиале» – бродячий довлатовский бантик: таксист везет рассказчика из аэропорта в Лос-Анджелес, приглядывается, интересуясь – не служил ли тот «попкой» в Устьвымлаге в 60-м? Далее, из ближайшего отступления в прошлое мы узнаем, что автор в том же 60-м только поступил в университет, чтобы через пару лет быть отчисленным и попасть на службу в лагерную охрану...

Еще интересней случай, когда его буквально сносит на десятилетие вперед в семидесятые.

В «Представлении» (рассказе из «Зоны», вышедшем отдельной публикацией) центральный сюжет – подготовка спектакля, силами офицеров и надзирателей, заключенных и вольнонаемных, к 60-летию советской власти. Кульминация – и халтурной пьесы (сочиненной СД вместе с автором для нужд повествования), и рассказа – слова Ильича, обращенные к «молодежи семидесятых».

То есть речь идет о 1977 году, Довлатов (и его протагонист Алиханов) десять с хвостиком лет как дембельнулись, а играющий Ленина зэк Гурин (лет около пятидесяти), «с колыбели – упорный вор», утверждает, будто кликуха Артист – у него еще с довоенных времен. То есть с календарем здесь явные и едва ли случайные нелады.

«Застой», при всей очевидной сегодня, особенно в культурном плане, условности и неточности термина, исторически кажется слишком одномерным и малопривлекательным. При этом именно «совок» (вот в этом обозначении сходятся либералы с имперцами; первые – громогласно, вторые – не проговаривая стыдной тайны вслух), не без шестидесятнических трогательных родимых пятен, является постоянным, хоть и движущимся фоном главных вещей Довлатова (включая «Филиал», сделанный, казалось бы, на сугубо эмигрантском материале, но сильный именно русским флешбэком).

Но писателем советского (или антисоветского) «застоя», с тем или иным знаком, Довлатова назвать вряд ли повернется самый бескостный язык.

СД – писатель именно советских 70-х, времени тихого экзистенциального взрыва, с голым человеком на голой земле, реализующийся в интонации и языке, вместе, однако не в хоре, с аналогично неприкаянными русскими талантами-современниками.

«Зона», близкая к недостижимому для него «романному» идеалу материалом, наличием «мыслей» и разноголосицей персонажей, стилистически ориентирована на Хемингуэя, интонационно – на Шаламова. (Довлатов, писавший первые лагерные рассказы в 60-х, с Шаламовым был знаком едва ли, но Довлатов, переписывавший «Зону» для первого русского издания в 1982 году, опыт Шаламова, разумеется, читал и учитывал.) Лексически – на блатной фольклор (получивший широкое распространение, кстати, именно в постгулаговское время).

Однако наиболее близка «Зона» городским романсам Владимира Высоцкого, не обязательно блатного цикла. Общее здесь – не только декларируемая Довлатовым и протоколируемая Высоцким взаимозаменяемость эков и охранников (а точнее, конечно, декораций и масок). Но прежде всего – ситуативный экзистенциализм, когда органика и могучая энергетика славных парней не растворяется в пьяном кураже, а плавает в проруби мутного безвременья, – ни потонуть, ни на берег выбраться. Девиз стихийных экзистенциалистов «Время выбрало нас» – советское пропагандистское клише, ставшее названием тогдашнего сериала; ну, и не обойтись без банальности о Высоцком – наиболее ярком персонаже и кумире советских 70-х. Владимир Семенович довлатовскую коллизию между блатным и вохровцем разрешал не задумываясь, сменой обличий, но не характеров:

Побудьте день вы в милицейской шкуре,
Вам жизнь покажется наоборот.
Давайте выпьем за тех, кто в МУРе,
За тех, кто в МУРе, никто не пьет.

А сыгранный им капитан Жеглов словно иллюстрирует довлатовскую мысль о единстве социальных противоположностей. Мысль, заметим, не Довлатовым открытую – мне сразу напомнили «Остров Сахалин» Чехова. Однако Чехов побывал на каторге в иную историческую, социальную и пенитенциарную эпоху, да и ОС – нон-фикшн в гораздо большей степени, чем «Зона», документализм которой весьма условен. Чехов обращался к властям, в своей, пусть и беспасфосной, манере отстаивая гуманистическую модель «милости к падшим»; Довлатов полностью игнорировал государство, объясняя подсознание советского мира через его физиологию, параллельно разрушая интеллигентские мифы.

Высоцкий, всю жизнь страдавший от отсутствия официального признания, и Довлатов, до конца так и не сумевший понять, отчего его не печатают в Союзе, образуют по этому поводу своеобразный дуэт одной эмоции – горького недоумения. В случае Высоцкого и задним числом официальное замалчивание по-прежнему кажется странным, но объяснимым. Причина неприятия Высоцкого тогдашней системой – его первый блатной цикл. Не заявленным способом самовыражения, но в качестве образа мышления, переходящего в образ жизни. Фронда ведь не в понтовой строчке «мою фамилию, имя, отчество, прекрасно знали в КГБ».

Гораздо страшней для общества: «Я, например, на свете лучшей книгой считаю Кодекс уголовный наш». Такому сплаву книжности и криминала нельзя доверять. Да что там! Ему невозможно внимать изначально. Собственно, в статьях вроде «О чем поет Высоцкий» Владимиру Семеновичу все это дали понять еще в 60-х.

Довлатову – много лет спустя объяснил Владимир Бондаренко в очерке «Плебейская проза Довлатова»:

«Плитой, перегородившей путь Довлатова в соцреализм, стала его первая книга «Зона». Был бы он поумнее, мог бы предвидеть сразу, что после «Зоны» все его компромиссы и заигрывания напрасны. Он не был злодеем-антисоветчиком. Просто у него оказался не тот жизненный опыт. Не случись у него неудачи с университетом, закончи он его спокойно, без авантюры любовных и жизненных, начни он с Пушкинского заповедника, с каких-нибудь записок мэнэ-эса, в конце концов, с битовских горожан, со спортивных историй, и судьба пошла бы по-другому. Опыт конвойных войск для брежневского времени был явно нелитературен. Правильно сказал сам же писатель – как бы несуществующим».

(Бондаренко – человек и критик, во всем противоположный «довлатовскому кругу», – морализаторствуя в заметках о СД до смешного, попадает во все капканы, расставленные писателем-мифологизатором на тропинках от героев к прототипам, лукавит и сам в угоду родному направлению; деловито прищуриваясь, прикидывает, где можно было бы при жизни автора напечатать то, а где это... Но во многих оценках он весьма и показательно точен.)

О личном знакомстве СД и ВВ свидетельств нет (при этом известно, что Довлатов пересекался со знаменитым шансонье Аркадием Северным, впрочем, Питер и образ жизни обоих к тому располагали). Однако Довлатов Высоцкого-поэта знал и понимал (не только на уровне зачина знаменитой байки: «Не спалось мне как-то перед запоем»):

«Текстов же Высоцкого слишком много, так что не все замечательные» (из письма Игорю Ефимову, 25 ноября 1982 г.).

«Я уже три года слышу о каком-то немисливо популярном в Союзе Александре Розенбауме. И вот мне дали его кассету – это страшная дешевка. Пародия на Высоцкого – но без точ-

ности, без юмора, а главное – без боли. Вырисовывается какой-то ряженный уголовник Мило-славский в роли Хлопуши» (Из письма Владимовым, 15 мая 1986 г.).

«Точность, юмор, боль» – это ведь очищенная от эпитетов характеристика лучшей прозы Довлатова. И тут больше родства с Высоцким, чем в объемах и градусах посмертной славы, равно как в схожей алкогольной и посталкогольной симптоматике.

Темпераменты, конечно, почти полярные, «ряженность» наверняка раздражала СД и в Высоцком, но ведь первую в Союзе статью о Довлатове, ненавидевшем аффекты и эффекты, его друг и биограф Андрей Арьев назвал «Театральным реализмом».

«Хочу воспроизвести финальную песенку из этой пьесы (СД тогда, с подачи Льва Лосева, пытался написать кукольную пьесу. – А. К.). Ее все хвалят. Прямо Высоцкий» (Из письма Тамаре Зибуновой – 1975 г., лето).

Есть и еще одна деталь, сегодня кажущаяся скорей забавной, а на самом деле печальная, во многом судьбоносная для наших героев, – как Высоцкого свысока похлопывали по плечу поэты-шестидесятники (даже у трезвого Аксенова в «общепримирающем» романе «Таинственная страсть» заметна эта снисходительность к «Владу Вертикалову»), так и Довлатова матерые писатели-диссиденты, «борцы с тоталитаризмом», полагали скорей журналистом и рассказчиком баек, в быту – пьющим талантливым парнем с тяжелым характером.

«Алешковский и Соколов представляли русскую прозу, я, увы, – журналистику».

«Довлатов, конечно, ничтожество, но рассказ смешной, и мы его опубликуем...»

Говорил влиятельнейший Владимир Максимов эти слова, нет – вопрос второй. Важней, как расставляет Довлатов акценты уничижительности – один из лучших его, глубокий, трагичный рассказ «Представление», где постулируется равный знак не только между зэками и охраной, но их единство с огромной, сильной и страшной страной – просто «смешной» пустячок, юмореска. «Ничтожество» в качестве личной характеристики от одного из эмигрантских боссов уравновешено двусмысленным литературным комплиментом...

Интересно: литераторы-эмигранты сгинули (как явление), а тон их писаний о Довлатове остался.

Важное исключение здесь составляют Виктор Некрасов и Георгий Владимов. Первого, несмотря на случившиеся как-то разборки вокруг все той же тяжеловесной максимовской фигуры, Довлатов ценил за легкомыслие и общий стиль жизни. (Симпатичнейший Панаев в «Филиале».) Второй, едва попав в эмиграцию, энергично похвалил СД – («мастер»), что произвело на того неизгладимое и пожизненное впечатление. Видимо, на общем фоне владимовская похвала звучала для СД не только гласом вопиющего. Укрепляло качество вопиющего.

Тут даже не так показателен, как информативен знаменитый анекдот о Коржавине, обозвавшем Довлатова «говном». И где сейчас Коржавин? Да и прочие звезды «антисоветской» литературы? Из эмигрантских когда-то писателей – в читательском топе Довлатов и еще менее антисоветский, даже просоветский тогда Лимонов.

Дело не столько в политике (хотя идеи «антисоветских» писателей оказались не так устаревшими, как скомпрометированными), сколько в чистой литературе: мере таланта, точности высказывания. Обаянии текста и автора – в случае Довлатова; в умении, что называется, «подсадить на себя» – это вариант Лимонова.

И здесь тоже – материал для небольшого сопоставления.

Довлатов и Лимонов: филология из физиологии

Писатели они, конечно, совершенно разные, в массе ключевых позиций противоположные, но общее поколение и география эмигрантского Нью-Йорка в переломный момент жизни обоих сегодня их объединяют в ряде любопытных контекстов.

Эдуард Вениаминович высказался о Довлатове трижды, нон-фикшн – «В плену у мертвецов» (тюремные дневники), «Священные монстры», «Книга мертвых – 2. Некрологи».

В первом случае в ходе диалога с издателем (реального или додуманного) Довлатов мелькает полемическим эпизодом, как образец «политкорректного автора».

В «Священных монстрах» Довлатов – эдакая бытовая метафора, возникшая как бы случайно (так вспоминают давнего знакомого или соседа), но вполне показательно, в связи с Хемингуэем (Лимонов говорит – «Хэмингвэй») и боксом: «Я не думаю, что Хэмингвэй был способным боксером. Просто он был сырой верзила, такой по комплекции, как Довлатов, так что если он замахивался, да еще знал два-три удара, то вот и боксер».

Образ «сырого верзила» в «Некрологах» раскрыт еще уничижительней: «Довлатова помню, как такое сырое бревно человека. Его формат – почти под два метра в высоту, неширокие плечи, отсутствие какой бы то ни было талии – сообщал его фигуре именно статус неотделанного ствола. (...) Он обычно носил вельветовые заношенные джинсы, ремешок обязательно свисал соплем в сторону и вниз. Красноватое лицо с бульбой носа, неармянского (он говорил, что наполовину армянин), но бульбой, вокруг черепа – бесформенный ореол коротких неаккуратных волос. (...) Он умудрялся всегда быть с краю поля зрения. И всегда стоять. Именно сиротливым сырым бревном».

Затруднительно представить себе Лимонова, читающего «запрещенную» переписку Довлатова с Игорем Ефимовым (хотя почему нет? Есенин без всяких яндексов ухитрялся знать все, что и где о нем пишут). Именно Ефимову Довлатов рассказывает о знакомстве с ЭЛ, также начиная с одежды.

(И если уж пришелся к слову Есенин, вспомним, что и их знакомство с Маяковским началось с одежды, «одежи», по версии Маяка.)

«Лимонов оказался жалким, тихим и совершенно ничтожным человеком. Его тут обижают... (...) Он действительно забитый и несчастный человек. Бледный, трезвый, худенький, в мятом галстучке».

Это, конечно, чистый Расемон, но довлатовские эти наблюдения, от 19 апреля и 4 мая 1979 г., хронологически совпадают с романом «Эдичка», и портрет очень даже «бьется»... «Талантлив, но отвергнут».

Казалось бы, Лимонов сейчас вспоминает как бог на душу положит, однако, начиная внешностью, кольцует ее финальными мыслями о довлатовской литературе. Через забавные фразы «Довлатов осторожно поддержал меня», «Довлатов, видимо, производил впечатление на людей с деньгами».

«... Полная хохм бытовая литература. В ней, по моему мнению, отсутствовал трагизм. Так называемый приветливый юмор, мягкое остроумие, оптимистичное, пусть и с «грустинкой», общее настроение».

Забавно тут не то, что Лимонов не заметил трагизма в Довлатове, а то, как он исчерпывающе высказался о кавээнно-каэспэшном изводе отечественной масскультуры...

Довлатов писал о Лимонове не только в письмах (а завершая эпистолярную тему, нельзя не процитировать: «Лимонов написал похабную книгу о своей несчастной, голодной жене, личико которой усыпано выпавшими ресницами»). Есть известное эссе «Дезертир Лимонов», его беллетризированный вариант в «Филиале» (анекдот, где ЭЛ уступает регламент выступления своему ругателю – поэту Ковригину), существуют варианты, где Ковригин становится реальным Коржавиным. Важно, как СД делает вещество литературы из бытового сырья, филологию из физиологии: лишившись жены и мятого галстучка, Лимонов становится довлатовским героем в типичных обстоятельствах: экстравагантный талантливый тип на фоне ильфо-петровских эмигрантских разборок.

Вернемся к лимоновскому некрологу. Он хвалит Довлатова, естественно, за отношение к себе: «мне хватило его высказывания на несколько месяцев хорошего настроения», за хохму о

себе и Коржавине – «Довлатов верно передал ее». Да и вообще, интонация и лексика краткого мемуара о СД разительно отличаются друг от друга: тон воспоминаний о СД теплый, и делает его таким не герой, конечно, но клубок ассоциаций, чем-то воспоминателя цепляющий. Это Централ-парк в Нью-Йорке, давняя любовница и даже эмигрантские газеты (Лимонов, впрочем, путает название «Нового американца», называя издание «Русским американцем», что при еврейских спонсорах НА и еврейской же, многократно осмеянной Довлатовым цензуре звучит особенно комично. Кстати, любопытно, что довлатовские байки вокруг еврейской темы похожи на сегодняшние повсеместные истории о «голубых»). Но главный вопрос, конечно – чем обусловлена столь нелицеприятная характеристика внешности и литературы СД?

Явно не самой природой лимоновской мемуаристики – как раз в некрологах главный эгоцентризм русской литературы нередко предстает автором трогательно-объективным, хотя неизменно снисходительным.

На мой взгляд, Лимонов, многие годы полагавший своим личным соперником в литературе одного Иосифа Бродского (Геннадий Шмаков, напутствуя Эл, добавлял к ИБ Сашу Соколова), с удивлением обнаружил, вернувшись на родину, шумный читательско-издательский посмертный успех Довлатова, особенно рельефный на фоне разрушения национальной химеры литературоцентризма.

«Когда впоследствии, уже после своей смерти, Довлатов сделался популярен в России, то я этому не удивился. Массовый обыватель не любит, чтобы его ранили трагизмом, он предпочитает такой вот уравновешенный компот, как у Довлатова...»

На самом деле удивился, и, похоже, сильно. Но, опять же, интересней другое: Эл близило противопоставляет собственную литературу довлатовской: между тем магистральная тема – «нового лишнего человека» – у них практически общая. Хотя и разрабатывается с противоположных позиций («Мой «Эдичка» большинству обывателей был неприятен, чрезмерен, за него было стыдно, а герои Довлатова спокойны без излишеств»). Я уже не говорю о сплошь и рядом, массово пересекающемся русском читателе обоих. Впрочем, Лимонов и раньше, в эмиграции, как выясняется, не терял СД из виду: «Довлатов управлялся со своим новым местом очень неплохо, много врагов не нажил, всех старался улаживать, и все более-менее были им довольны в Нью-Йорке. У него оказался талант к налаживанию существования, Бродский отнес его рассказ в «Нью-Йоркер», и легендарный журнал, печатавший в 20-е и 30-е годы на своих страницах лучших авторов Америки, опубликовал Довлатова. Потом Бродский устроил ему английскую книгу. (После чего Бродский возревновал все-таки Довлатова к американскому читателю и прекратил ему помогать.) Об успехах Довлатова я узнавал уже в Paris, куда переехал вслед за судьбой своего первого романа в мае 1980 года. Вести об успехах привозили наши общие знакомые».

Впрочем, и Довлатов того периода в частном порядке склонен был объяснять лимоновский успех внелитературными обстоятельствами: «Эдик Лимонов уехал в Париж, где его оценили как антиамериканца» (из письма Тамаре Зибуновой – 20.04.85).

Лимоновские оценки резко противоречат как биографическому канону «американского Довлатова», так и эпистолярным жалобам самого СД на редакторскую и писательскую судьбу (о природе и искренности этих жалоб ниже), но любопытней всего здесь насмешливо-ревнивая интонация, заготовленная давно и как бы впрок. Чтобы лет через тридцать превратиться в оставленное за собой последнее слово: «Тот, кто не работает в жанре трагедии, обречен на второстепенность, хоть издавай его и переиздавай до дыр. И хоть ты уложи его могилу цветами».

Тут ревность клокочет уже не хронологическая, но метафизическая. Показательно, однако, что Эдуард Вениаминович, пополнивший корпус русской арестантской литературы («По тюрьмам», «В плену у мертвецов», «Торжество метафизики»), весьма близок довлатовской концепции «Зоны» – зэки и охранники в тюремном мире Лимонова – существа одного порядка, пребывающие в единой неморальной, но кармической плоскости.

Довлатов, водка и большая литература

Следующая, на мой взгляд, причина падения интереса к СД кроется в литературных запросах нашего времени. В стране, где оказались сначала размыты, а после разрушены базовые ценности, где заявления вроде «лошади едят овес» и «свобода больше, чем несвобода» выглядят глубоко дискуссионными, в литературу пошли, как ходоки «за правдой», – не во второе Правительство, но в Арбитраж. В народном понимании Арбитраж немислим без наличия Авторитета. Вот его-то и кинулась искать литература в своих рядах. Хотя традиция не нова – таким Авторитетом был в свое время Горький – и Сталин, зазывавший пролетарского классика в Союз, мыслил союз несколько иной – государства с неконтролируемым блатным (литературным) миром для осуществления контроля сначала умеренного, а потом тотального. Ментальность обоих вождей – партийного и писательского – имела изводы, резонирующие с криминальными понятиями.

Вообще-то поэт как вор – старая спекулятивная концепция. Терц-Синявский (а следом Тимур Кибиров) выставляли вором самого Пушкина, а почтенный структуралист Игорь Смирнов, рассуждая о преступной природе творчества, писал, что, не будь у юного Иосифа попытки угона самолета и арестов, не было бы и Бродского.

Все это в разной степени веселые попытки разыскать мозг в заднице.

Но ведь любопытно: в перестроечном кинематографе («Гений» с Абдуловым и пр.) образ старого российского вора (прототипы, по всей видимости, – легендарные Бриллиант, Монгол etc.) доносил до публики великий Иннокентий Смоктуновский. И больше всего в ролях этих Иннокентий Михайлович напоминал не отечественный аналог голливудских донов, а... Иосифа Александровича Бродского. Причем осмелюсь предположить: Монгола с Бриллиантом Смоктуновский едва ли наблюдал, а вот образ поэта-лауреата был перед глазами.

В этом, представляется мне, есть что-то глубокое и загадочное. В одном из интервью, отвечая на вопрос Дмитрия Савицкого, что бы с ним было, останься он в России, Бродский ответил: в творческом плане, наверное, без изменений, а в бытовом... Ну посадили бы еще раз или два.

Фатализм, вытекающий отнюдь не из диссидентской модели поведения, но напрямую из российского воровского закона. Еще один мемуарист вспоминает: ожидая второй посадки, Бродский просил ни в коем случае не хлопотать за него. И чуть ли не прямо запретил материальную поддержку, посылки, «грев». Касаемо же Смоктуновского – Бродский, оказывается, про него знал. В диалогах с Соломоном Волковым упомянул эдак вскользь и небрежно: это как сравнивать Лоуренса Оливье со Смоктуновским... Хотя Смоктуновский еще ладно – с Кадочниковым...

Если вернуться в относительную современность: согласие по фигуре Солженицына между либералами и патриотами продиктовано ведь тоже не литературными произведениями Александра Исаича. В нем увидели именно такого Авторитета – вот только сам классик видел другое: то ли ставил перед собой задачи глобальнее, то ли собрался на покой. А может, все вместе.

Авторитетом и Учителем (первое тут важнее) для молодой литературы последнего десятилетия несколько неожиданно сделался все тот же вечный изгой Эдуард Лимонов, а смотрящим Его – в ранге уже не беззаконной кометы, но полноценной звезды – Захар Прилепин. С его прагматическим миссионерством, цельным мировоззрением, выдвинувшими Захара на роль вожака своего литературного поколения. Он и не сопротивляется (см. мою статью «Время Прилепина» // Волга. 2010. № 9—10).

А вот Довлатов на Авторитета не потянул. И не только потому, что умер ко времени эдакой востребованности. Мертвый Авторитет иногда бывает даже полезнее. Сергей Донатович заранее взял самоотвод, еще когда столбил свою литературную нишу. Нишу среднего литератора – с достоинством, но без особых претензий.

Об этом написано немало, больше всего, и явно больше, чем необходимо, написал сам Сергей Довлатов. Концентрация приниженности в его текстах, и особенно письмах столь густа и обильна, что в какой-то момент благородно-смиренная осанка литературного схимника начинает явственно отдавать дурновкусием. Установка на нишевость и усредненность оборачивается плохим, но достигающим цели пиаром.

Цитаты на данную тему даже не нуждаются в точности и закавычивании.

Тут и мазохистские благодарности судьбе за пятнадцать лет непечатанья и вынужденного ученичества. И ранжирование коллег (себя по низшему разряду) на рассказчиков, прозаиков и писателей с фальшивой толстовской нотой: «Писатель говорит о том, ради чего живут люди». Позерская аналогия с Куприным – в которой нет ничего дурного, кроме объяснений – почему именно Куприн, а не...

И явно вымученные и оттого преувеличенные восторги в адрес печатающихся, со временем обернувшиеся тяжелой драмой отношений.

И постоянный мотив: я просил у Бога одного – сделать меня средним литератором... Я получил за свою литературу того, чего она заслуживает, и даже больше... Выяснилось, что я претендую на большее... Увы, у Бога добавки не просят...

И т. д.

Довлатов-человек, да и Довлатов-автор (повторюсь, особенно писем) – был бы благодарным материалом для психолога. В подобном рассчитанном самоуничижении я вижу две основные причины.

Ну, личная и писательская скромность – это понятно. Рыцарственное отношение к литературе, как к прекрасной и взбалмошной даме. Включающее защиту от посягательств и амигошества. Тут не пожалеешь и отца – и вовсе не ради красного словца:

«Мой папаша, получив книгу и перелистав ее, сказал:

– Цвет обложки мне не нравится, но внутри книга – великолепная, искренняя, темпераментная!..

И за ужином несколько раз повторил:

– Книга состоялась!» (из письма Игорю Ефимову, 18 августа 1984 г.).

Но суть явления глубже: в основе середняцких комплексов Довлатова – своеобразный стокгольмский синдром. Литературное изгойство в Союзе, похоже, породило в нем странную тревогу: не только советская власть, но и кое-кто повыше заинтересован в том, чтобы рассказы СД как можно дольше добирались до читателя. Или вовсе к нему не попадали. И когда все, наконец, произошло и случилось, СД счел за благо не только возблагодарить, но и заговорить судьбу. При отсутствии серьезных амбиций всегда можно сказать вдогонку захлопнувшейся форточке нечто противоположное по смыслу, но схожее по интонации: что ж, не больно-то и хотелось... Спасибо, что дали подышать...

И конечно, СД, человек и писатель отнюдь не монолога (отсюда его эпистолярная страсть), очень рассчитывал получить в ответ на свое самоунижение паче кокетства: да ты что, старина! кто, если не ты, настоящий писатель! это и есть большая литература!

Иногда (редко) получал: «это хотя бы можно читать» (Бродский); «с похмелья могу читать только Бунина и Вас» (Виктор Некрасов, то бишь «Панаев»). Впрочем, обе цитаты из самого Довлатова, точнее, снова звучит его больно, как зуб, комплекс.

Чаще бывало другое – людские и тем более литературные иерархии – производные самопиаров. «Сам себя не похвалишь». Если он сам столь невысокого о себе мнения, значит, это мы обольщаемся. Довлатов-то адекватен. «Адекватность» всегда считалась высшей похвалой в литературных кругах.

У Довлатова было две страсти – литература и водка. Поразительно, что в описании и того и другого он использует одинаковый метод. И сходный инструментарий. Уменьшить масштабы явления. Снизить планку. Заузить перспективу. Не дразнить судьбу.

В прозе Сергея Донатовича запой – мероприятие чаще карнавальное, иногда с драматическим сюжетом, но никогда – с трагическим финалом. Параллельная реальность, примиряющая с безумием жизни. Где политура и одеколон – функциональны во благо, вроде фольклорной живой и мертвой воды, а питье из футляра для очков и сон в гинекологическом кресле – инициации романтического героя. А когда приходят делирий и галлюцинации – это намек на необходимость сменить не образ жизни и не родину, но географию.

В письмах Довлатов откровеннее – но и здесь установка на заговаривание судьбы и зубов – случился запой, но я его прервал... пью я все меньше... пить здесь абсолютно не с кем... слухи о моем алкоголизме преувеличены... они тут пьяных не видели... больше 4 месяцев не пью... сорвал передачи, нахамил, но перед всеми извинился... пьянство мое затихло...

Даже в самых откровенных описаниях срывов – оптимистические финалы: об участии и понимании родных...

Виктория Беломлинская:

«Жил он ужасно: он боялся своих домочадцев, а они боялись его. Их жизнь тоже была нескончаемым кошмаром. Во время запоев он гонял по квартире и мать, и жену, и сына. Если удавалось вырваться, они сбегали к Тоне Козловой, иногда несколько дней отсиживались у нее. (...)

Одним прекрасным днем встретили мы Сережу в Манхэттене и взялись довести его до дома. По дороге он рассказал, что не был дома уже много дней, вышел, наконец, из запоя, чувствует себя отвратительно, а когда подъехали, стал умолять нас подняться с ним, ну, хоть на минуточку, только войти с ним, хоть пять минут побыть в доме, не дать сразу начаться скандалу.

«Я боюсь, я сам себя боюсь. Я впадаю в ярость. Я знаю, что страшен. Но, знаете, как меня прокликает моя мать: «Чтоб ты сдох и твой сизый х...й, наконец, сгнил в земле!» Вы можете представить, чтобы родная мать так проклинала сына?» Я смеюсь. «Сережа, – говорю, – проклятья армянской матери не считаются. Бог их не слышит, Он знает, как она на самом деле любит тебя».

Бойтесь своих не только желаний, но и заклинаний.

Помимо прочего, Довлатов стал своеобразной жертвой интеллектуального читательского снобизма. Который он хорошо знал и в себе, и в других: «Книжку Крепса я читал сначала с воодушевлением и благодарностью, потому что она вполне доступная и простая, а затем по тем же причинам ее невзлюбил. Видимо, подлость моей природы такова, что абсолютно доступные

книги меня не устраивают. Раз я все понимаю, значит, что-то тут не так» (из письма Игорю Ефимову, 4 октября 1984 г.).

«Потом я услышал:

– Вот, например, Хемингуэй...

– Средний писатель, – вставил Гольц.

– Какое свинство, – вдруг рассердился поэт.

– Хемингуэй умер. Всем нравились его романы, а затем мы их якобы переросли. Однако романы Хемингуэя не меняются. Меняешься ты сам. Это гнусно – взваливать на Хемингуэя ответственность за собственные перемены.

– Может, и Ремарк хороший писатель?

– Конечно.

– И какой-нибудь Жюль Верн?

– Еще бы.

– И этот? Как его? Майн Рид?

– Разумеется» («Филиал»).

Всех как-то очень быстро устроило, что Довлатов возвел анекдот в ранг большой литературы, и это его главная перед ней заслуга. Однако для среднего читателя-интеллектуала, который льстит себе всегда и по любому поводу, довлатовская литература выглядит большой лишь на фоне анекдота, а сам Сергей Донатович застрял на пути от застольного рассказа к Литераторским мосткам.

Попробуем разобраться. Хотя где и в чем они, подлинные критерии большой литературы?

Прозаические вещи СД с прокламируемой им точностью попадают в жанровую высшую лигу. «Зона», помимо всего прочего, еще и великолепный роман воспитания. Преображения, рождения литератора из надзирателя. В несколько ином роде в эту воронку ложится и «Заповедник» – «на фоне Пушкина».

«Компромисс» и «Невидимая газета», при всей разнице качества, в жанровом смысле образуют единый производственный роман – остродефицитный в сегодняшней литературе. Кто еще увидел в журналистике зеркало общественной безнравственности по обе стороны океана и отнес к профессиональным достоинствам легкомыслие и цинизм? Поскольку и то и другое – эффективное оружие не только от жизни, но и от соблазна думать, что способен ею – своей и чужой – управлять?

У «Компромисса» получились неожиданные параллели.

Есть «Последняя газета» Николая Климонтовича с вялым половодьем довольно мелких чувств, инфантильными претензиями к новой жизни и детским взглядом на производство через замочную скважину (речь о «Коммерсанте» 90-х). «Generation «П» Виктора Пелевина, где обаятельный цинизм довлатовских персонажей разрастается до злокачественной опухоли, поражающей времена и смыслы...

«Невидимую книгу» можно было назвать «филологическим романом», если бы, густонаселенная, как коммуналка, легкая и увлекательная, она не оппонировала унылой автоапологетике кондиционных «филологических» (в чем отличается один из героев «Невидимой книги» – Анатолий Найман). «Наших» – чье действие начинается во Владивостоке, а завершается в Нью-Йорке – три четверти глобуса, пройденных за сотню лет с остановками – закономерно можно вести по ведомству «семейной хроники». А можно рассматривать как пародию на пухлых соцреалистических форсайтов, которые тоже, как правило, начинались в Сибири, а победный финал наступал то в Кремле, то в космосе...

Можно спорить, был ли Довлатов новатором формы (пресловутая метаморфоза анекдота) или стиля (хотя сознательно выбравший пушкинскую манеру явно не эпигон).

Для меня очевидно, что до Сергея Донатовича, так просто изложившего в «Зоне» идею об онтологическом единстве полярных социальных типов («моя концепсия бытия», – где-то цитирует он Шемякина), в литературе не было единого взгляда на пространство вокруг запретки.

А распространять это пространство, согласно известной метафоре, можно максимально широко...

В двух выдающихся книгах последнего десятилетия – романах Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет» и «Чертово колесо» Михаила Гиголашвили – подобный авторский взгляд – уже позиция, ни в каких «концепсиях» не нуждающаяся.

У Гиголашвили парад грешников (при тотальном, я бы сказал, отсутствии оценок за поведение) – от некоего «Большого Чина» до законченных морфинистов намеренно и показательно закольцован фигурами идейного вора в законе и капитана угрозыска (как у Довлатова – Купцовым и Алихановым в «Зоне»). Общие поведенческие мотивации, синхронное желание радикально поменять жизнь (вплоть до отказа от наркотиков) и – одинаково (не)удавшийся опыт сотворить добро из зла.

В романе Рубанова главный герой – сам по себе запретка. Он социально завис между администрацией и заключенными – банкир, «коммерс», попав в лефортовскую камеру, а затем в «Матроску», в итоге прибивается к блатным, но так и не обзаводится набором необходимых антагонизмов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.